

САМОСОЗНАНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ

Н.В. Тищенко

10.7256/1999-2793.2013.04.8

СВОБОДА И НЕСВОБОДА В ПРОСТРАНСТВЕ ЛИТЕРАТУРНЫХ ТЕКСТОВ: ДИСКУРС-АНАЛИЗ ПРОИЗВЕДЕНИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ГУЛАГу

Аннотация. Цель статьи — выявить стратегии сопротивления влиянию норм тюремных субкультур на социальные и дискурсивные практики, существующие в отечественной культуре. Подобный пример сопротивления был обнаружен в текстах, объединенных под рубрикой «рефлексивный дискурс», куда были отнесены тексты, написанные отечественными авторами как воспоминания о времени, проведенном в лагерях ГУЛАГа. При помощи технологий дискурс-анализа был определен ключевой знак рефлексивного дискурса «тюрьма — свобода», содержащий три уровня смысловых коннотаций. Анализ этих коннотаций позволил идентифицировать стратегии сопротивления эскалации тюремных, криминальных ценностей в общественной системе. Спецификой работы является то, что дискурс-аналитическая методология была применена к анализу слабо структурированных источников — литературных текстов. Сопоставление дискурсивных практик, предложенных литературными текстами, и социальных практик показывает, что рефлексивный дискурсивный проект оказался невостребованным в отечественной культуре, не был актуализирован в используемых социальных практиках и оказался частью дискурсивного исторического архива. В рефлексивном дискурсе были выявлены внутренние противоречия, которые препятствовали его влиянию на социальные практики. Во-первых, это латентное смещение высказываний рефлексивного дискурса с криминальными, уголовными традициями, которое оказалось неизбежным в условиях совместного существования в пространстве лагеря. Во-вторых, распространение знаний о тюремной субкультуре в обществе получило искаженный эффект — в общественном сознании не сформировалось устойчивая неприязнь и нетерпение к тюремной субкультуре, а напротив, был сконструирован героический образ осужденного, противостоящего несправедливой официальной власти. Эти две причины способствовали распространению в отечественной культуре такого явления как «тюремизация» — принятие норм, ценностей и правил тюремной субкультуры как неотъемлемой, составной части повседневных практик.

Ключевые слова: культурология, субкультура, ГУЛАГ, дискурс, практика, свобода, несвобода, рефлексия, сопротивление, тюремизация.

Особенности функционирования пенитенциарной системы, нормы и правила тюремной субкультуры, последствия распространения в обществе влияния криминальных ценностей и образа жизни являются частью самых разнообразных научных исследований. Если до 50-х гг. XX столетия исправительные учреждения и люди, находящиеся в них, интерпретировались, как правило, в рамках

правового и психологического дискурсов, то в последней четверти XX века тюрьма как социальный институт и источник формирования определённых маргинальных общественных настроений попадает под пристальное внимание социологов, антропологов, исследователей культуры. Одними из самых обсуждаемых проблем в исследовательской литературе становятся вопросы специфики отношений и иерархий, формирующихся в условиях со-

циальной изоляции, а так же вопросы, связанные с конструированием образа преступника в общественном мнении посредством различных дискурсов — научных, правовых, публицистических, экономических, политических, масс-медийных. В числе подобных работ необходимо отметить тексты М. Фуко, Г. Сайкса и А.Н. Олейника¹.

Однако для отечественной действительности принципиальным в отношении тюремной криминальной субкультуры является вопрос её распространения и влияния на общественные ценности и индивидуальные модели поведения. Заражение общественной системы криминальными ценностями, сленгом, маргинальной системой социальных ролей очевидно. Но мы своё исследовательское внимание хотим обратить не на факт распространения криминальных ценностей, а на возможности выстраивания социальных, экзистенциальных, культурных заслонов, предотвращающих воздействия тюремных, криминальных субкультур. Мы задались вопросом — а есть ли в российской истории и культуре пример активного противостояния влиянию тюремной субкультуры. Подобный пример сопротивления мы обнаружили в текстах, которые мы объединили под рубрикой «рефлексивный дискурс», куда отнесли тексты, которые были написаны русскими писателями как воспоминания о времени, проведенном в лагерях ГУЛАГа.

В данной статье анализируются следующие работы: «Крутой маршрут» Е.С. Гинзбург; «Черные камни» А.В. Жигулина; «Хранить вечно» Л.З. Копелева; «Непридуманное» Л.Э. Разгона; «В круге первом» А.И. Солженицына; «Колымские рассказы» В.Т. Шаламова. Поставив перед собой цель — прояснить стратегии сопротивления распространению криминальных ценностей в дискурсе, представленном в текстах русских писателей, прошедших сталинские лагеря, мы остановили свой выбор на дискурс-аналитической методологии.

Существует и ряд направлений в дискурс-аналитических исследованиях, которые не предлагают четких определенных указаний, как именно проводить эмпирическое исследование, ограничиваясь определением теоретических оснований анализа. Так Э. Лакло и Ш. Муфф, исходя из принципа, что

разнообразные дискурсы находятся в состоянии постоянной борьбы между собой². За основу в исследовании произведений, посвященных тюрьме, взята схема, предложенная Э. Лакло и Ш. Муфф. Авторы полагают, что дискурсы находятся в постоянном движении и развитии, причем развитие направлено на вытеснение или дискредитирование других дискурсивных систем. Т.е. «борьба дискурсов» — это внутреннее структурное дискурсивное свойство, без которого невозможно существование всей дискурсивной конструкции³. Противники подобной точки зрения считают, что у каждого дискурса имеется свое дискурсивное пространство, свои объекты (те, кто воспринимает установки данного дискурса как некую данность), свои институты, воспроизводящие дискурс (государство, церковь, социальный институт и т.д.)⁴.

На наш взгляд, борьба различных дискурсов за право дать наиболее точную, «правдивую» интерпретацию тюрьмы, тюремной субкультуры, тюремной жизни определяет специфику дискурсивных практик, которые складываются относительно такого социального пространства как пенитенциарная система. Показательно, что идеи «правдивости», «откровенности» используются как официальными дискурсами, так и дискурсами принципиально отрицающими любые официально признанные формы высказывания о тюрьме. Вот цитата из редакторского вступления к книге Л.Э. Разгона «Непридуманное» (хотя уже само название текста четко указывает на отношение автора к своему тексту): «*Все, о чем рассказывает в этой книге писатель Лев Разгон, — правда. В ее обычном словарном обозначении: "То, что действительно было, то, что в действительности есть". В ней нет придуманных персонажей, эпизодов, дат*»⁵. Столкновения и взаимное отрицание официальных и неофициальных дискурсов о тюрьме является ярчайшим примером того, каким образом в обществе формируются и транслируются идеи, мифы, легенды о различных объектах, как возникают образы «героев» и «антигероев» в зависимости от того, какой из дискурсов оказывается

¹ Фуко М. Надзирать и наказывать. М., 1999. 482 с.; Sykes G.M. The Society of Captives. A Study of a Maximum Security Prison. Princeton, 1958. 144 p.; Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. М., 2001. 418 с.

² Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. Toward a Radical Democratic Politics. London, 2001. P. 97-98.

³ Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. Toward a Radical Democratic Politics. P. 105.

⁴ Fairclough N. Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: die universities // Discourse and Society. 1993. № 4 (2). P. 133-168.

⁵ Разгон Л.Э. Непридуманное: Повесть в рассказах. М., 1990. С. 4.

наиболее чувствителен и адекватен действующим социальным практикам.

Необходимо оговорить особенности употребления в нашем исследовании понятий «дискурсивная» и «социальная» практики. В рамках дискурс-аналитической методологии нет единого мнения о степени совпадения этих двух концептов. Э. Лакло и Ш. Муфф отождествляют дискурсивную и социальную практики, тогда как Н. Фэркло резко разводит данные понятия и даже предлагает свою схему взаимодействия дискурсивных и социальных практик⁶. Мы полагаем, что «говорение» и «действие» как два способа организации социального пространства тесно связаны между собой, но не совпадают друг с другом полностью. Есть эпистемологические зазоры, где дискурсивные практики оказываются вне социального мира или социальная практика минимальным образом поддерживается дискурсивными конструкциями. В нашем исследовании в интерпретации социальной практики мы придерживаемся уже зарекомендовавших себя в литературе положений:

1. Социальная практика имеет двойную структуру, т.к. определяется социальной средой, но одновременно и воздействует на социальный мир, трансформируя его структуру. Очень точно этот парадокс социальной практики выразил П. Бурдь: «Практика — это все то, что социальный агент делает сам и с чем он встречается в социальном мире»⁷;

2. С помощью понятия социальная практика преодолевается разрыв между макро- и микросоциальными уровнями, т.к. социальную реальность предстает в качестве некоего сплетения социальных практик или индивидуальных социальных действий и только понятая в таком контексте социальная реальность может быть подвергнута интерпретации и прогнозированию⁸.

Любая дискурсивная практика в качестве конечного своего продукта полагает производство системы представлений, знаний, институционально организованных, а, следовательно, воплощенных в определенных социальных практиках. Поэтому в нашем исследовании нет отождествления дис-

курсивной и социальной практик, но мы и не рассматриваем их как две принципиально разные структуры, функционирующие вне друг друга. При анализе материала мы придерживаемся еще одного постулата дискурс-аналитического исследования — **наличия связи между знанием и социальным поведением**. В рамках определенного дискурсивного пространства (административного дискурса, либерального, криминального) какие-то способы поведения становятся нормализованными, а другие — неприемлемыми. Отсюда знания (как повседневной жизни, так и знания абстрактные и научные) имеют социальные последствия⁹. Эти социальные последствия и являются связующим звеном между дискурсивной и социальной практиками.

В рамках данного дискурс-аналитического исследования мы сосредоточимся на определении так называемых «узловых точек» в дискурсе. Узловые точки — максимально общие понятия, с помощью которых происходит актуализация дискурса в общем социальном пространстве знания. В статье мы подробно остановимся на анализе ключевого знака «тюрьма» — «свобода», который содержит несколько принципиальных смысловых пластов. Во-первых, этот знак определяет метафизические границы дискурса. Во-вторых, он обозначает социальные границы данного дискурса. В-третьих, знак «тюрьма» — «свобода» очерчивает экзистенциальные границы. В рамках каждого из перечисленных когнитивных уровней рефлексивный дискурс предлагает оригинальную стратегию сопротивления, неприятия тюремной субкультуры.

Основные знаки дискурса включают мифы, героев и антигероев, устойчивые выражения, характерные определения. Основные знаки — это максимально общие, своего рода метафизические понятия. Это пустые знаки, они сами по себе ничего не значат, некие само собой разумеющиеся данности, не требующие расшифровки для участников одного дискурса и абсолютно непонятные, закрытые для интерпретации конструкции участниками другого дискурса. Особенностью дискурсов, сформированных внутри пространства тюрьмы, является то, что основные знаки и мифы этих дискурсов либо полностью игнорируются, либо принципиально иначе интерпретируются иными (официальными) дискурсами. Но и дис-

⁶ Laclau E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. Toward a Radical Democratic Politics. P. 87; Chouliaraki L., Fairclough N. Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis. Edinburg, 1999. P. 113-114.

⁷ Бурдь П. Практический смысл. СПб., 2001. С. 552.

⁸ Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структуризации. М., 2003. С. 69-70.

⁹ Burr V. An Introduction to Social Constructionism. London, 1995. P. 5; Фуко М. Археология знания. Киев, 1996. С. 177-195.

курсы, представленные в литературных текстах, не признают официальные определения и конструкции, иронизируя и критикуя официальную терминологию:

«Озерлаг, Луглаг, Степлаг, Камышлаг...»

— *Можно подумать, в МВД сидит непризнанный поэт. На поэму не разгонится, на стихотворение не соберется, так дает поэтические названия лагерям»*¹⁰.

1. В метафизическом плане любой дискурс, рожденный в пространстве тюрьмы тотален. Тюрьма представляется не только самодостаточным миром, но и неким бытием, исключающим все другие формы бытия и существования. Рефлексивный дискурс — не исключение в этом плане, а абсолютное подтверждение. Внутри тюрьмы, как метафизического пространства, заключены свои ад и рай, свои свобода и рабство, свои господство и подчинение, свои добро и зло, свой нигилизм, скепсис, идеализм и вера. Все эти понятия имеют место и в свободном обществе, но только тюрьма открывает иную сторону привычных вещей, понятий, которые используются, не задумываясь, мимоходом. Социальные практики, которые можно воспроизвести в тюрьме, приобретают принципиально иной смысл, кардинально отличающийся от смыслов, бытийствующих в свободном обществе. Е.С. Гинзбург приводит в тексте пример с чтением книг: *«В семье меня всегда считали страстной и неумемной пожирательницей книг. Но по настоящему раскрылся передо мной внутренний смысл читаемого только здесь, в этом каменном гробу. Все, что я читала до этой камеры, было, оказывается, скольжением по поверхности, развитием души вширь, но не вглубь. И после выхода из тюрьмы я опять уже не умела больше читать так, как читала в Ярославской одиночной»*¹¹.

Только в этом особенном пространстве вещи, явления, люди приобретают смысл и значения, которые невозможны в любом другом метафизическом поле. *«Это было на каторге, но я, кажется, никогда больше не ощущал жизнь так, во всей ее полноте, ибо находился на самом краю этой страшной, но вечно прекрасной жизни»*¹². Эти новые значения и определения не лучше и не хуже, не истиннее и не лживее, они принадлежат другой системе когнитивных координат. Опыт бытия и

формы знания, обретенные в тюрьме, не востребованы и даже не возможны на свободе. Поэтому в поле метафизических смыслов формируется концепт: **«тюрьма — это особенная форма бытия»**. Этой установкой дискурс рефлексивный принципиально отличается от дискурса дидактического, который объявляет тюремный опыт универсальным.

Оборотной стороной метафизической уникальности тюрьмы является то, что в определенный момент все понятия, конструкты, определения, самоидентификация теряют всякий смысл. Когда наступает этот момент потери уникальности своего нахождения в тюрьме? — в момент, когда стремление физически выжить преодолевает все выученные культурные табу. Откопать труп недавно умершего человека, т.к. на теле оставались хорошие вещи, которые можно продать «блатарям» — это тот самый момент, когда физическая жизнь побеждает культуру, когда рушатся все метафизические пространства, все культурные и социальные демаркации и остается только одно — дожидаться того момента, когда собственное физическое существование будет прервано истощением и бессилием.

В.Т. Шаламов приводит один из самых ярких примеров потери самоидентичности, разрушения субъективности и морального опустошения и безразличия в рассказе «Ночью»: *«...Он не знал прошлого тех людей, которые его окружали, и не интересовался им. Впрочем, если бы завтра Багрецов объявил себя доктором философии или маршалом авиации, Глебов поверил бы ему, не задумываясь. Был ли он сам когда-нибудь врачом? Утрачен был не только автоматизм суждений, но и автоматизм наблюдений. Глебов видел, как Багрецов отсасывал кровь из грязного пальца, но ничего не сказал. Это лишь скользнуло в его сознании, а воли к ответу он в себе найти не мог и не искал. То сознание, которое у него еще оставалось и которое, возможно, уже не было человеческим сознанием, имело слишком мало граней и сейчас было направлено лишь на одно — чтобы скорее убраться камнями»*¹³.

Тюрьма из сакрального метафизического пространства трансформируется в несуществующее, небытийствующее пространство, не отмеченное на картах, не зафиксированное в документах, не указанное в отчетах. Для большинства свободных

¹⁰ Солженицын А.И. В круге первом. М., 2010. С. 26.

¹¹ Гинзбург Е.С. Крутой маршрут: хроника времен культа личности. М., 1990. С. 218.

¹² Жигулин А.В. Чёрные камни. М., 1989. С. 56.

¹³ Шаламов В.Т. Колымские рассказы // Шаламов В.Т. Собрание сочинений. М., 1998. Т. 1. С. 24.

граждан многочисленные лагеря не существовали, а если информация о лагерной системе и доходила до граждан, то в абсолютно искаженном виде. Люди, попадая в лагерь, подвергались в первую очередь гражданской казни и, будучи отлучены от системы гражданских прав и свобод, так же превращались в Ничто. Отказ родственников от репрессированных членов семей, практическая невозможность написать письмо из лагеря на свободу — все это стратегии официальной власти, направленные на уничтожение тюрьмы как особого метафизического пространства, обладающего собственной системой означивания. И когда герои рефлексивного дискурса читают в карцере стихи, спорят о принципах искусства на верхних рядах нар — это не позёрство, это попытка рефлексивно-дискурсивно сохранить специфическую метафизику тюрьмы. Вот как описывает своё первое пребывание в карцере Е.С. Гинзбург: «*Спать здесь невозможно. Мешают холод и крысы. Они шмыгают мимо меня, и я бью их огромным лаптем. Что же делать? Ах, стихи...Я читаю себе Пушкина и Блока, Некрасова и Тютчева. Потом сочиняю (акын настоящий, совсем без карандаша!) стихи "Карцер"*»¹⁴. Лагерь вопреки всем стратегиям уничтожения индивидуальности и субъектности может стать местом просвещения и обретения знаний, о чём пишет А.В. Жигулин: «*Почти всю мою жизнь на ОЗ1-й колонии Александр Федорович Штерн помогал мне — по мере возможности, конечно. Он, например, руководил моим чтением (в колонии со времен Тайшетлага осталась случайно не уничтоженная небольшая библиотека). В совсем хорошие времена он помогал мне в изучении английского языка. Я очень страдал оттого, что прервалась моя учеба в институте, что нет возможности много читать, и восполнял эти лишения беседами с людьми. От людей порою узнаешь больше, чем из книг*»¹⁵. Это и есть первая принципиальная стратегия сопротивления и официальной власти, и криминальным нормам и принципам.

2. Следующая составляющая знака «тюрьма» — «свобода» это социальные границы, которые только на первый взгляд кажутся очевидными и не требующими разъяснения: тюрьма — это социальное пространство, куда помещены индивиды, осужденные властью, свобода — это социальное

пространство для индивидов, не совершавших действий, осуждаемых властью. Для дискурса рефлексивного характерно стирание, нивелирование социальных границ, но не по принципу утопического дискурса — все люди равны, — или либерального дискурса, предлагающего свою интерпретацию социального равенства. Нет, здесь совсем другая дискурсивная позиция. Тоталитарная власть, прерывая все социальные связи осужденных, создает одно тотальное пространство тюрьмы, в котором осужденный в буквальном смысле забывает любое проявление свободы, любую социальную практику, связанную не с тюремным миром, любую социальную роль, кроме роли индивида, лишённого всех социальных благ, прав, ответственности. Поэтому внешние социальные границы, отделяющие «тюрьму» от остального мира, мира «свободы» практически отсутствуют в рефлексивном дискурсе. Они лишь намечены образами, не имеющими отношения к тюремной, лагерной системе. Охрана и администрация, персонажи, обладающие статусом свободных людей, — это такие же сегменты тюремного мира как уголовные преступники. А вот образы детей, девушек, молодых женщин разрушают созданный властью тотальный характер тюремного пространства и намекают на возможное существование иного, давно забытого мира, который содержит не только иные эмоции и чувства, но и иные социальные роли и социальные статусы. Столкновение с этими образами всегда сопровождается сильнейшим эмоциональным потрясением, шоком, вызванным воспоминанием о существовании свободы как таковой, свободы действия, свободы желания:

«*Деткомбинат — это тоже зона. С вахтой, с воротами, с бараками и колючей проволокой. Но на дверях обычных лагерных бараков неожиданные надписи. «Грудниковая группа». «Ползунковая». «Старшая»...В первые дни я попадаю в старшую. Это вдруг возвращает мне давно утраченную способность плакать. Уже больше трех лет сухое отчаяние выжигало глаза. А вот теперь (в июле сорокового) я сижу на низенькой скамейке в углу этого странного помещения и плачу. Плачу без остановки, вздыхая, как наша няня Фима, всхлипывая и сморкаясь по-деревенски. Это шок. Он-то и выводит меня из оцепенения последних месяцев. Да, это, несомненно, тюремно-лагерный барак. Но в нем пахнет теплой манной кашей и мокрыми штанишками. Чья-то дикая фантазия соединила все атрибуты тюремного мира с тем простым, человечным и*

¹⁴ Гинзбург Е.С. Крутой маршрут: хроника времен культа личности. М., 1990. С. 223.

¹⁵ Жигулин А.В. Чёрные камни. М., 1989. С. 72.

трогательно-повседневным, что осталось за чертой досягаемости, что казалось уже просто сновидением»¹⁶.

Почти такое же ощущение невозможности сочтения лагеря и детства вызывает у героя Колымских рассказов Шаламова находка на мусорной куче детской тетради с рисункам. Воспоминания о доме, как об одном из символов свободы, о детстве, о сказочных персонажах, которые рисовал за обеденным столом, являются частью той вытравленной из памяти свободы, которой не место в тотальном пространстве тюрьмы. Именно поэтому все эти воспоминания так безжалостно прерываются бесцеремонным и практичным окриком человека с зоны:

«Товарищ мой заглянул в тетрадку и пощупал листы.

Газету бы лучше искал на курево. — Он вырвал тетрадку из моих рук, скомкал и бросил в мусорную кучу. Тетрадка стала покрываться инеем» [Шаламов, Колымские рассказы. Гл. «Детские картинки»].

Почему именно образ детства, образ ребенка используется рефлексивным дискурсом, как способ обозначения социальных границ между тюрьмой и свободным миром? Ребенок выступает здесь как символ моральной, нравственной чистоты, он не может участвовать в обманах, предательстве, подложных обвинениях, физическом и психологическом насилии, во всем том, что объединяет тюремный и свободный мир как функционирующие социальные системы.

Еще одна группа, с помощью которой рефлексивный дискурс, пытается наметить социальные границы — это образы девушек, молодых женщин, чьи судьбы оказываются как-то связаны с миром тюрьмы (работа, отношения с заключенными). Конечно, эти персонажи, в отличие от детей, связаны множеством функций и обязанностей с обществом, но в силу того, что чувственное, эмоциональное начало в них всегда оказывается сильнее рационального, того что было внушено начальством, педагогами, родителями, они так же оказываются вне социальных демаркаций, условностей, стратегий дискриминации и пр. Именно таким «не-целерациональным» представителем власти оказывается «*маленькая похожая на птичку девушка*» Симочка [Солженицын, В круге первом], для которой тюремная шарашка стано-

вится единственным пространством, где она может реализовать свою чувственность и эмоциональность. Примером такого же непотребительского, нерационального отношения к человеку, а тем более к осужденному является Анна Павловна из рассказа В.Т. Шаламова «Дождь»

«Я вспомнил женщину, которая вчера прошла мимо нас по тропинке, не обращая внимания на окрики конвоя. Мы приветствовали ее, и она нам показалась красавицей — первая женщина, увиденная нами за три года. Она помахала нам рукой, показала на небо, куда-то в угол небосвода, и крикнула: «Скоро, ребята, скоро!» Радостный рев был ей ответом. Я никогда ее больше не видел, но всю жизнь ее вспоминал — как могла она так понять и так утешить нас. Она указывала на небо, вовсе не имея в виду загробный мир. Нет, она показывала только, что невидимое солнце спускается к западу, что близок конец трудового дня»¹⁷.

Показательно, что метками, определяющими социальную границу между свободой и тюрьмой, становятся образы социально индифферентные: дети и женщины. Разницу между свободой и изоляцией не могут прояснить ни одна социальная практика — труд, властвование, творчество, наука. И в тюрьме, и на свободе эти практики выполняют одни и те же функции, носят одинаковый характер и прояснить различие двух миров они не в состоянии. И только образы, которые с позиции многих дискурсов, имеют заниженные социальные статусы (явно или латентно) очерчивают еле заметную социальную грань между тюрьмой и свободным миром. В пространстве коннотаций социального рефлексивный дискурс формирует концепт: **«тюрьма — это особая форма социальной жизни»**. Здесь все стратегии сопротивления направлены на поддержание тех социальных форм и ролей, который официальный властный дискурс либо игнорирует, либо наделяет заниженным социальным статусом.

Если существование внешних социальных границ в рефлексивном дискурсе лишь угадывается, то на наличие глубокой внутренней социальной границы — границы между уголовным миром и политическими заключенными — рефлексивный дискурс указывает вполне определенно. Различие между уголовными преступниками и политическими осужденными, оказавшимися в

¹⁶ Гинзбург Е.С. Крутой маршрут: хроника времен культа личности. М., 1990. С. 337.

¹⁷ Шаламов В.Т. Колымские рассказы // Шаламов В.Т. Собрание сочинений. М., 1998. Т. 1. С. 67.

одном пространстве лагеря, абсолютно непреодолимо с точки зрения рефлексивного дискурса. И тоталитарная власть использует это различие для устрашения индивида, попавшего на зону. Власть сливается с уголовным миром по целому ряду позиций, предлагая ему неоправданные привилегии, и все только ради того, чтобы лишить индивида способности сопротивляться власти, лишить его самости. Власть не только наделяет уголовный мир функциями управления, когда тюремные авторитеты распоряжаются и распоряжком для политических осужденных и даже их жизнями или предоставляет им льготный режим существования (освобождение от труда, лучшее питание). Но власть воспринимает криминальные установки и использует их как составную часть властных механизмов. Власть и криминальная субкультура сливаются в пространстве тюрьмы, обе они преследуют одинаковые цели — уничтожение человеческого достоинства, снижение способности сопротивляться насилию и, как конечный вариант, установление бесконтрольной со стороны индивида системы управления. Проблема слияния уголовной культуры и официальной власти обсуждается и в текстах В.Т. Шаламова, и А.И. Солженицына, но ёмкое, точное определение проблемы предлагает А.В. Жигулин: *«Не стоит романтизировать воров и их закон, как они это сами делали в жизни и в своем фольклоре, как это иногда делали даже известные писателя. Но суки в тюрьмах, в лагерях были для простого зека особенно страшны. Они верно служили лагерному начальству, работали нарядчиками, комендантами, буграми (бригадирами), спиногрызами (помощниками бригадиров). Зверски издевались над простыми работягами, обирали их до крошки, раздевали до нитки. Суки не только были стукачами по приказам лагерного начальства они убивали кого угодно. Тяжела была жизнь заключенных на лагпунктах, где власть принадлежала сукам»*¹⁸. Определение жёсткое, с использованием тюремного жаргона, оно призвано подчеркнуть принципиальную несовместимость криминальной, тюремной субкультуры с нормами и принципами свободной повседневной жизни.

Специалисты в области пенитенциарной психологии, криминологии, социологии преступности предлагают ряд характеристик, которые выражают сущность криминальных, уголовных субкультур в целом. Если привести список этих характери-

стик и сравнить его с описаниями официальной власти в текстах рефлексивного дискурса, то совпадение окажется абсолютно полным. Список характеристик преступной субкультуры приводится по монографии пенитенциарного психолога В.Ф. Пирожкова¹⁹.

1. «Попрание прав личности, выражающееся в агрессивном, жестком и циничном отношении к «чужим» слабым и незащищенным» — расстрел осужденных, если они переставали выполнять норму выработки в «Колымских рассказах» В.Т. Шаламова; ночные обыски в туберкулезном диспансере в тексте Е.С. Гинзбург.
2. «Отсутствие чувства сострадания к людям, в том числе и к «своим» — характер взаимоотношений руководства различных уровней «тюремной шарашки» в тексте А.И. Солженицына «В круге первом»; история о жене М.И. Калинина в тексте Л.Э. Разгона «Непридуманное».
3. «Нечестность и двуличное отношение к «чужим»» — описание допросов у Е.С. Гинзбург и Л.З. Копелева.
4. «Паразитизм, эксплуатация «низов», глумление над ними» — примеры оскорбительного отношения как к заключенным, так и к любому человеку, занимающему более низкую ступень иерархической лестницы, приводят абсолютно все авторы рефлексивного дискурса.
5. «Обесценивание результатов человеческого труда» — эксплуатация осужденных на самых тяжелых стройках, работах и отсутствие оплаты и достойных условий существования осужденных трансформировали труд из главной социальной ценности в поток бессмысленных действий²⁰. О том, что советский индустриализм носил мифологический характер, писал В. Подорога, указывая, что все «великие» советские стройки осуществлялись политическими осужденными, чье наличие официально не признавалось властью. Очень точно эту характеристику официальной власти определил В.Т. Шаламов, когда сравнил надпись над входом в лагерь «Труд есть дело чести, дело славы, дело доблести и геройства» с надписью над фашистскими лагерями — «Каждому свое»: *«Лагерь был местом, где учили ненавидеть*

¹⁹ Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодежи [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Грамотея». URL: <http://www.gramotey.com> (дата обращения: 08.05.2012).

²⁰ Подорога В. Знаки власти (записки на полях) // Киносценарии. 1991. № 3. С. 180.

¹⁸ Жигулин А.В. Чёрные камни. М., 1989. С. 68.

физический труд, ненавидеть труд вообще. Самой привилегированной группой лагерного населения были блатари — не для них ли труд был героизмом и доблестью»²¹. Здесь уголовная субкультура с ее пренебрежительным отношением к труду, как к неодобряемой форме деятельности, полностью совпадает с теми социальными практиками, которые официальная власть использует в отношении организации труда.

6. «Неуважение прав собственников, выражающееся в кражах и хищениях» — история о галстуке в тексте у В.Т. Шаламова; о кражах в тюремной больнице у Л.З. Копелева.
7. «Поощрение циничного отношения к женщине и половой распущенности» — убийство Анны Павловны в рассказе В.Т. Шаламова; очень точно это циничное отношение к женщине как сексуальному объекту передает отрывок из текста Л.З. Копелева: *«Но что будет с Милой? Она рядом, прижалась к плечу, теплая, печальная, пальцы тонкие, но сильные, тискают мне локоть. Что будет с ней, кому достанется? Ведь придется ей не с одним, так с другим так же прижиматься, так же целоваться влажно, горячо, так же распахиваться...»²². Единственно возможная форма существования для женщины по нормам криминальной субкультуры — это быть чьей-то сексуальной собственностью, и этот стереотип представители официальной власти с точностью воспроизводят.*
8. «Поощрение низменных инстинктов и любых форм асоциального поведения» — безнаказанность издевательств и убийств политических заключенных представителями уголовного мира, как одна из стратегий власти по запугиванию индивида и разрушению его способности к сопротивлению.

Констатируя сближение официальной власти и тюремной субкультуры, рефлексивный дискурс не смог предложить действенных способов борьбы и размежевания власти и криминального мира. Пожалуй, это основная дискурсивная неудача, которая привела к тому, что рефлексивный дискурс не сумел актуализоваться в социальных практиках и стать эффективной идеологической силой, утверждающей определенными мировоззренческие, политические,

экономические форматы. Увы, мы вынуждены констатировать, что рефлексивный дискурс стал частью исторического дискурсивного архива, выпадающего из набора современных актуальных социальных и дискурсивных практик.

3. Следующий когнитивный пласт антиномии «тюрьма — свобода» — это экзистенциальные границы, которые в пространстве тюрьмы так же обретают двойной амбивалентный характер. С одной стороны, большинство авторов сходится в том, что насилие, физические страдания, голод, тяжелые болезни формируют особый тип внутренней экзистенциальной свободы, которая только и помогает преодолеть все перечисленные лишения. Е.С. Гинзбург в карцере с отмороженными пальцами ног читает стихи, Ф.Г. Светов — читает молитвы, Л.З. Копелев — верит в коммунистическую идеологию, а персонаж из романа «В круге первом» Рубин заклеивает карту Китая красными квадратиками. Принц из одноименного рассказа Л.Э. Разгона, потеряв свой социальный статус, высокое материальное положение, связи с родственниками, оказавшись в лагере из-за любви к обыкновенной советской женщине, вопреки всем доводам рассудка заявляет: *«Но со всей искренностью, на которую мне дает право мое положение и приближающийся конец моей жизни, я хочу вам сказать: нет, я ни о чем не жалею! Я был так счастлив с этой женщиной, так необыкновенно, невероятно счастлив, что не могу считать слишком чрезмерной цену, которую я за эту любовь заплатил... За такое счастье нет достойной ее цены!»²³. Все эти и многие другие сюжетные линии можно объединить под рубрикой — формирование внутреннего пространства.*

Невозможность получить официально приватные пространство и время в тюрьме, находясь постоянно под наблюдением охранников или других осужденных, индивид бережно создает глубоко внутреннюю жизненную стратегию, укрытую и от официальной власти, и от любого постороннего нежелательного внимания. С этим связана идея одиночества в лагере, т.к. одиночество — это один из не многих доступных способов сохранения самости. Но на сколько рефлексивный дискурс здесь искренен? И здесь вполне уместно задаться вопросом — не лукавит ли рефлексивный дискурс, когда предоставляет примеры столь отчаянной духовной

²¹ Шаламов В.Т. Колымские рассказы // Шаламов В.Т. Собр. соч. М., 1998. Т. 1. С. 87.

²² Копелев Л.З. Хранить вечно. М., 1990. С. 427.

²³ Разгон Л.Э. Непридуманное: Повесть в рассказах. М., 1990. С. 92.

работы? Рефлексивный дискурс сам развенчивает собственный идеологический ход — игры с внутренним миром, который надежно укрыт от социального окружения, заканчивают окончательной потерей и внутреннего мира, и самостоятельности в принятии решений, потерей экзистенциально-стресса как такового. Попытки укрыться от реальности за чтением книг, за воспоминаниями прошлых знаний оказываются наивны и бессильны перед физическим бессилием. Голод, холод, болезнь — три фактора, разрушающие морально-нравственные устои, идеологические принципы, родственные привязанности, гуманизм и чувство справедливости: *«Мы плыли по течению, и мы «доплывали», как говорят на лагерном языке. Нас ничто уже не волновало, нам жить было легко во власти чужой воли. Мы не заботились даже о том, чтобы сохранить жизнь, и если и спали, то тоже подчиняясь приказу, распорядку лагерного дня. Душевное спокойствие, достигнутое притупленностью наших чувств, напоминало о «высшей свободе казармы», о которой мечтал Лоуренс, или о толстовском непротивлении злу — чужая воля всегда была на страже нашего душевного спокойствия»*²⁴. Между двумя крайностями — глубоко одухотворенным скрытым состоянием и абсолютной потерей воли — маневрирует рефлексивный дискурс, очерчивая экзистенциальные границы в тюремном пространстве, которые выражаются концептом — **«тюрьма — как особая форма самосознания»**. Специфика этой формы самосознания заключается в утверждении принципиальной незавершенности индивидуального бытия, в признании наличия для человека перманентного выбора. До последнего момента физического существования у человека остаётся выбор — предать ли не предать, обмануть или не обмануть. Е.С. Гинзбург пишет *«Является ли потребность в раскаянии и исповеди подлинной особенностью человеческой души?... Вокруг нас был мир, опровергавший, казалось бы, самое воспоминание о том, что не хлебом единым... Хлебом, хлебом единым, единой царицей Пайкой дышали здесь все живые, полуживые и даже совсем умирающие. Да и мы сами, наверно, еще ведем эти разговоры по старой интеллигентской инерции, а по сути, и мы уже морально мертвы»*²⁵.

²⁴ Шаламов В.Т. Колымские рассказы // Шаламов В.Т. Собрание сочинений. М., 1998. Т. 1. С. 85.

²⁵ Гинзбург Е.С. Крутой маршрут: хроника времен культа личности. М., 1990. С. 403.

Для авторов тюрьма — это, прежде всего, испытание, которое связано с поиском истины и обретением себя через потерю социального статуса и материальных благ. Авторы с большой долей иронии описывают лагерный быт, еду, одежду зеков, условия содержания. Внешние ограничения и потери — это лишь повод для шутки и иронии. Страшнее, когда индивид теряет внутренние, экзистенциальные ориентиры, и авторы пытаются продемонстрировать способы сохранить эти внутренние устои: *«Ими владело бесстрашие людей, утеравших все до конца, — бесстрашие, достигающееся трудно, но прочно»*²⁶.

Однако рефлексивному дискурсу не удалось до конца во всех текстах придерживаться заявленных стратегий. В определенный момент рефлексивный дискурс смешивается с дискурсом криминальным и начинает активно использовать его концепты и стратегии. Ярче всего эта тенденция проявляется в тексте Л.З. Копелева, где он описывает свою роль в войне «сук и воров». Хотя автор и пытается показать себя лишь наблюдателем «криминальных» столкновений, но бесстрастное наблюдение достаточно быстро перерастает в активное участие и демонстрацию хорошей осведомленности и в уголовных традициях, и криминальном языке. Таким образом, заявленная цель рефлексивного дискурса — сформировать механизмы защиты против уничтожения личности — при взаимодействии дискурса с социальными практиками оказывается не достижимой.

В рефлексивном дискурсе заложен ещё один когнитивный парадокс, который привел к тому, что он так и остался незавершенным социальным проектом и не актуализировался в социальной практике. Речь идёт о стремлении рефлексивного дискурса сделать знание о тюрьме доступным большинству социальных субъектов, но парадоксальность ситуации заключается в том, что знания о тюремном опыте, распространённые в свободной социальной структуре, способствовали эскалации криминализации и «тюремизации» социальных и других дискурсивных практик. Под «тюремизацией» социальных и дискурсивных практик мы понимаем принятие норм, ценностей и правил тюремной субкультуры как неотъемлемой, составной части повседневной культуры. Несмотря на убедительность логичность когнитивных конструкций рефлексивного дискурса, мы вынуждены констатировать факт дискурсивного провала утверждения рефлексивного дискурса как приоритетного в системе высказываний о тюрьме и тюремных субкультурах.

²⁶ Солженицын А.И. В круге первом. М., 2010. С. 975.

Список литературы:

1. Бурдые П. Практический смысл [Текст] / Пьер Бурдые; перевод с фр. А.Т. Бикбова, К.Д. Вознесенской, С.Н. Зенкина, Н.А. Шматко; общ. ред. и послесл. Н.А. Шматко; Институт экспериментальной социологии. СПб: Алетейя, 2001. 562, [14] с.
2. Гидденс Э. Устроение общества. Очерк теории структуризации [Текст] / Энтони Гидденс; перевод с англ. И. Тюрина. М.: Академический проект, 2003. 528 с.
3. Гинзбург Е.С. Крутой маршрут: хроника времен культа личности [Текст]: воспоминания / Е. Гинзбург; [худож. В. Виноградов]. М.: Советский писатель, 1990. 601 [3] с.
4. Жигулин А.В. Черные камни [Текст]: биографический роман / А.В. Жигулин; [автобиографическая повесть, стихотворения]. М.: Книжная палата, 1989. 240 [1] с.
5. Копелев Л.З. Хранить вечно [Текст]: биографический роман / Л.З. Копелев. М.: Вся Москва, 1990. 687 [3] с.
6. Олейник А.Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти [Текст] / А.Н. Олейник. М.: ИНФРА-М, 2001. 418 [14] с.
7. Пирожков В.Ф. Законы преступного мира молодежи [Электронный ресурс] // Электронная библиотека «Грамотей». URL: <http://www.gramotey.com> (дата обращения: 08.05.2012).
8. Разгон Л.Э. Непридуманное: Повесть в рассказах [Текст] / Л.Э. Разгон. М.: Слово, 1990. 286 [1] с.
9. Солженицын А.И. В круге первом [Текст]: роман / А.И. Солженицын. М.: АСТ, 2010. 990 [3] с.
10. Фуко М. Археология знания [Текст] / Мишель Фуко; перевод с фр. С. Митина, Д. Стасова, общ. ред. Бр. Левченко. Киев: Ника-Центр, 1996. 208 [1] с.
11. Фуко, М. Надзирать и наказывать [Текст] / Мишель Фуко; перевод с фр. В. Наумова. М.: Ad Marginem, 1999. 482 [3] с.
12. Шаламов В.Т. Колымские рассказы [Текст] в 4-х т. Т. 1. Колымские рассказы. Левый берег. Артист лопаты / В.Т. Шаламов. М.: Художественная литература, Вагриус, 1998. 340 [3] с.
13. Burr V. An Introduction to Social Constructionism / V. Burr. London: Sage, 1995. 198 p.
14. Chouliaraki L., Fairclough N. Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis / L. Chouliaraki, N. Fairclough. Edinburg: Edinburg University Press, 1999. 168 p.
15. Fairclough N. Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: die universities / N. Fairclough // Discourse and Society. 1993. № 4 (2). P. 133-168.
16. Laclau, E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. Toward a Radical Democratic Politics / E. Laclau, C. Mouffe. London: Verso, 2001. 197 p.
17. Sykes, G.M. The Society of Captives. A Study of a Maximum Security Prison / G.M. Sykes. Princeton: Princeton University Press, 2007. 204 p.

References (transliteration):

1. Burd'e P. Prakticheskiy smysl [Tekst] / P'er Burd'e; perevod s fr. A.T. Bikbova, K.D. Voznesenskoy, S.N. Zenkina, N.A. Shmatko; obshch. red. i poslesl. N.A. Shmatko; In-stitut eksperimental'noy sotsiologii. SPb: Aleteyya, 2001. 562, [14] s.
2. Giddens E. Ustroenie obshchestva. Ocherk teorii strukturatsii [Tekst] / Entoni Giddens; perevod s angl. I. Tyurina. M.: Akademicheskii proekt, 2003. 528 s.
3. Ginzburg, E.S. Krutoy marshrut: khronika vremen kul'ta lichnosti [Tekst]: vospominaniya / E. Ginzburg; [khudozh. V. Vinogradov]. M.: Sovetskiy pisatel', 1990. 601 [3] s.
4. Zhigulin, A.V. Chernye kamni [Tekst]: biograficheskiy roman / A.V. Zhigulin; [avtobiograficheskaya povest', stikhotvoreniya]. M.: Knizhnaya palata, 1989. 240 [1] s.
5. Kopelev, L.Z. Khranit' vечно [Tekst]: biograficheskiy roman / L.Z. Kopelev. M.: Vsyaya Moskva, 1990. 687 [3] s.
6. Oleynik, A.N. Tyuremnaya subkul'tura v Rossii: ot povsednevnoy zhizni do gosudarst-vennoy vlasti [Tekst] / A.N. Oleynik. M.: INFRA-M, 2001. 418 [14] s.
7. Pirozhkov V.F. Zakony prestupnogo mira molodezhi [Elektronnyy resurs] // Elektronnyaya biblioteka «Gramotey». URL: <http://www.gramotey.com> (data obrashcheniya: 08.05.2012).

8. Razgon, L.E. Nepridumannoe: Povest' v rasskazakh [Tekst] / L.E. Razgon. M.: Slovo, 1990. 286 [1] s.
9. Solzhenitsyn, A.I. V krugе pervom [Tekst]: roman / A.I. Solzhenitsyn. M.: AST, 2010. 990 [3] s.
10. Fuko, M. Arkheologiya znaniya [Tekst] / Mishel' Fuko; perevod s fr. S. Mitina, D. Sta-sova, obshch. red. Br. Levchenko. Kiev: Nika-Tsentr, 1996. 208 [1] s.
11. Fuko, M. Nadzirat' i nakazyvat' [Tekst] / Mishel' Fuko; perevod s fr. V. Naumova. M.: Ad Marginem, 1999. 482 [3] s.
12. Shalamov, V.T. Kolymskie rasskazy [Tekst] v 4-kh t. T. 1. Kolymskie rasskazy. Levyy bereg. Artist lopaty / V.T. Shalamov. M.: Khudozhestvennaya literatura, Vagrius, 1998. 340 [3] s.
13. Burr, V. An Introduction to Social Constructionism / V. Burr. London: Sage, 1995. 198 p.
14. Chouliaraki L., Fairclough N. Discourse in Late Modernity: Rethinking Critical Discourse Analysis / L. Chouliaraki, N. Fairclough. Edinburg: Edinburg University Press, 1999. 168 p.
15. Fairclough, N. Critical discourse analysis and the marketization of public discourse: die universities / N. Fairclough // Discourse and Society. 1993. № 4 (2). P. 133-168.
16. Laclau, E., Mouffe C. Hegemony and Socialist Strategy. Toward a Radical Democratic Politics / E. Laclau, C. Mouffe. London: Verso, 2001. 197 p.
17. Sykes, G.M. The Society of Captives. A Study of a Maximum Security Prison / G.M. Sykes. Princeton: Princeton University Press, 2007. 204 p.